

Д.П. Ивинский

**ТУРГЕНЕВ, ХЕРАСКОВ, ПУШКИН
(Из комментария к повести «Пунин и Бабурин»)**

Аннотация. В статье рассмотрен созданный И.С. Тургеневым в повести «Пунин и Бабурин» образ русской литературы XVIII – первой половины XIX в., центральное место в котором заняли М.М. Херасков, А.С. Пушкин и не названный в повести И.А. Крылов. Предпринята попытка разъяснить смысл обращения Тургенева к Хераскову и его литературной репутации и в связи с этим поставлен вопрос об особом положении Тургенева в истории русской литературы.

Ключевые слова: Тургенев; Херасков; Крылов; Пушкин; Костров; Дубенский; Рубан; русская литература XVIII в.

Ivinskij D.P. Turgenev, Kheraskov, Pushkin (From the commentary to «Punin and Baburin»)

Summary. This paper focuses on the image of Russian literature of the XVIII – first half of the XIX century in I.S. Turgenev's story «Punin and Baburin». Central figures of the period according to Turgenev were M.M. Kheraskov, A.S. Pushkin and I.A. Krylov (unnamed in the story). An attempt was made to clarify the meaning of Turgenev's appeal to Kheraskov and his literary reputation. In this context the problem of Turgenev's specific position in the history of Russian literature is highlighted.

Keywords: Turgenev; Kheraskov; Krylov; Pushkin; Kostrov; Dubensky; Ruban; Russian literature of the 18 th century.

Как известно, Херасков воспринимался и как поэт, и как мистик – по крайней мере в той специфической среде московских масонов-филантропов, которая была бегло обрисована А.С. Пушкиным в «Путешествии из Петербурга в Москву». Масонская

литература XVIII столетия оказывала постепенно затухавшее (но, кажется, не исчезающее малое) воздействие на «русский романтизм», после чего стала в основном достоянием историков и библиографов, однако «ожила» во влиятельной «Истории русской общественной жизни» Р.В. Иванова-Разумника, истолковавшего деятельность московских розенкрайцеров как первый этап становления русской интеллигенции, и в то же время вернула себе некоторую условную актуальность, обретя и событие в сложном контексте Серебряного века с его радикальным гностицизмом. Тургенев, вроде бы далекий от этой линии литературно-идеологического процесса и даже от этой проблематики, тем не менее со своим «пушкинизмом» и «реализмом», открытым к взаимодействию с «романтизмом» и «сентиментализмом» и не чуждавшимся специфического, порой болезненного интереса к некоторым аспектам «странныго» «запредельного», именно в этом качестве был сравнительно недавно охарактеризован В.Н. Топоровым в изданных им отдельно нескольких главах книги «Странный Тургенев», возможно, оставшейся недописанной, украшенных выразительной схемой в форме пентаграммы, призванной, насколько можно понять, облегчить читателю задачу постижения авторского замысла¹.

Здесь выяснилось, что Тургенев, погружаясь в душевые аспекты взаимодействия со «странным» и «запредельным», соприкасался преимущественно с его «темной» стороной (море, птицы, сны, тоска, ночь и ее атрибуты как предвестие – предчувствие – предощущение смерти), на восприятие которой накладывалась воспринятая еще в родительском доме – от матери – специфическая религиозность, внецерковная и суеверная, проявляющаяся в тоске, неопределенных мечтательных состояниях, устремленных в это туманное и лишь иногда (правда, со временем все чаще) напоминающее о себе запределье, обычно внушающее страх и при этом влекущее, и сочетающихся с пониманием обреченности.

Но если тургеневское «стрданное» – это душа, в которой свет еще теплится, но готов погаснуть², то на этом фоне херасковское «просвещение» – торжествующая воля, дух в свете. Напряжение между полюсами духа и души возникнет, в качестве неотменимой темы, уже у Карамзина, своеобразно отзываются у Жуковского, попытавшегося сделать шаг назад, к мистике херасковского типа от

Карамзина с его скептицизмом, у Пушкина, в начале своей литературной биографии пытавшегося соотнести «вольтерьянство» с гармонией, у Гоголя и Тютчева – у всех русских поэтов XIX в., а наиболее очевидным образом – в русском символизме, восставшем дух в мистическом опыте, устремленном к инфернальному и при этом не выходившем из сферы той тоски душевного, которая впервые обрела себя в «странных» Тургеневе. В предельно грубой форме эволюционная модель, о которой сейчас идет речь, выглядит следующим образом: от Хераскова и литературной мистики розенкрайцерского типа к мистике Серебряного века через Тургенева, осуществившего мягкое переключение мистической темы из светлого плана к темному.

О херасковском «просвещении» Тургенев помнил, воспринимал его как безнадежную архаику, как и всю литературную культуру XVIII в., и, в принципе, был готов над ними иронизировать, ср. в письме к М.А. Бакунину и А.П. Ефремову от 3 и 8 сентября 1840 г.:

У нас в деревне был <...> огромный дом. <...> В нашей части <...> стояли запыленные шкафы <...>; там хранились груды книг 70-х годов <...>. Мне было лет 8 или 9. Я сговорился с одним из наших людей, молодым человеком, даже стихоплетом <...>; мы взломали замок, и я <...> достал две громады: одну он тотчас унес к себе <...>. На мою долю досталась «Книга эмблем» <...>, тиснения 80-х годов, претолстейшая: на каждой странице были нарисованы 6 эмблем, а напротив изъяснения на четырех языках. Целый день я перелистывал мою книжицу и лег спать с целым миром смутных образов в голове. Я позабыл многие эмблемы; помню, напр.: «Рыкающий лев» – знаменует великую силу; «Арап, едущий на единороге» – знаменует коварный умысел (почему?) и прочее. Досталось же мне ночью! единороги, арапы, цари, солнцы, пирамиды, мечи, змеи вихрем крутились в моей бедной головушке; я сам попадал в эмблемы, сам «знаменовал» – освещался солнцем, повергался в мрак, сидел на дереве, сидел в яме, сидел в облаках, сидел на колокольне и со всем моим сидением, лежанием, беганием и стоянием чуть не схватил горячки. Человек пришел меня будить, а я чуть-чуть его не спросил: «Ты что за эмблема?» С тех пор я бегал «Книги эмблем» пуще черта <...>. Г-ну Серебрякову <...> досталась «Россияда» Хераскова.

О «Россияде»! и о Херасков! Какими наслаждениями я вам обязан! Мы с Леоном уходили каждый день в сад, в беседку на берегу пруда, и там читали – и как читали! или правильнее: он читал – и как читал! сперва каждый стих скороговоркой, так себе – начерно; потом с удовольствием, с напряжением и с чувством – набело. <...> Я слушал – мало! внимал – мало! обращался весь в слух – мало! – и классически: пожирал – все мало! глотал – все еще мало! давился – хорошо. Леон был человек вежливый и предлагал мне книгу – но я отказывался. Читать скороговоркой я мог не хуже его; но я не надеялся достигнуть торжественности его возгласов. Притом же он несколько говорил в нос, что в то время, особенно при произношении буквы О, мне весьма нравилось <...>³.

Здесь существенно, что рассказ о «Книге эмблем» предваряет рассказ о «Россияде»: Тургенев прекрасно понимает, что эта «Книга...» – «ключ» ко всей поэзии XVIII (отчасти, конечно, и XIX) в.; что изучение эмблематики и мифологии мыслилось как неотъемлемая часть традиционного гуманитарного образования (собственно, он застал еще эту традицию на ее излете), необходимая для того, чтобы понимать языки живописи, архитектуры, поэзии; что, наконец, владение соответствующим материалом рассматривалось как условие адекватного творческого взаимодействия с культурным пространством. Но Тургеневу важно показать, что «ключ» этот больше не работает, что утрачен самый его смысл, а потому он готов утверждать, что изображения и текст «Книги эмблем» производят впечатление бессмысленных и принципиально недоступны ребенку, а взрослому, видимо, не нужны. Но если «ключ» не работает, то и поэзия, созданная на его основе, оказывается недоступной людям иной культуры. Парадоксальным образом, поэма Хераскова все же оказывается способной увлечь это не понимающее ее сознание, лишенное опоры в культурной традиции, но увлекает не столько смыслом, сколько звучанием, самим чтением в «торжественной» манере (сама потребность в этой торжественности, неизвестно откуда взявшаяся, не становится предметом рефлексии)⁴. Несколько иначе расставлены акценты в романе «Дворянское гнездо»:

По воскресеньям, после обедни, позволяли ему играть, т.е. давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича-Амбодика, под заглавием «Символы и эмблемы». В этой книге помещалось около тысячи частью весьма загадочных рисунков, с столь же загадочными толкованиями на пяти языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них, под названием «Шафран и радуга», относилось толкование: «Действие сего есть большее»; против другого, изображавшего «Цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту», стояла надпись: «Тебе все они суть известны». «Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка» означали: «Мало-помалу». Федя рассматривал эти рисунки; все были ему знакомы до малейших подробностей; некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение; других развлечений он не знал

(Тургенев: Соч., 6, 39–40).

Здесь, как видим, книга Максимовича-Амбодика все же какую-то пропедевтическую роль исполняет («заставляет» Федю Лаврецкого «задумываться» и «будит его воображение»), но в целом ситуация совершенно подобна той, что обсуждена Тургеневым в его письме 1840 г., за исключением того, что в одном случае ребенок сам находит загадочную книгу, пытается постичь ее, а потом «бегает» от нее «пуще черта», а во втором получает ее от взрослых как воскресное «игровое» поощрение «после обедни»⁵.

Два приведенных нами отрывка давно были соотнесены с третьим, из повести «Пунин и Бабурин» (1874), которая является единственным художественным произведением Тургенева, содержащим упоминание о Хераскове:

Пунин преимущественно придерживался стихов — звонких, многошумных стихов; душу свою он готов был положить за них! Он не читал, он выкрикивал их торжественно, заливчально, закатисто, в нос, как опьяnelый, как исступленный, как Пифия! И еще вот какая за ним водилась привычка: сперва прожужжит стих тихо, вполголоса, как бы бормоча... Это он называл читать начерно; потом уже грянет тот же самый стих набело и вдруг вскочит, поднимет руки — не то молитвенно, не то повелительно... Таким образом мы прошли с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира (чем старее были стихи,

тем больше они приходились Пунину по вкусу), но даже «Россиаду» Хераскова! И, правду говоря, она-то, эта самая «Россиада», меня в особенности восхитила. Там, между прочим, действует одна мужественная татарка, великанша-героиня; теперь я самое имя ее позабыл, а тогда у меня и руки и ноги холодели, как только оно упоминалось! «Да, – говоривал, бывало, Пунин, значительно кивая головою, – Херасков – тот спуску не дает. Иной раз такой выдвинет стишок – просто зашибет... Только держись!.. Ты его постигнуть желаешь, а уж он – вон где – и трубит, трубит, аки кимвалон! Зато уж и имя ему дано – одно слово: Херррасков!!»

(Тургенев: Соч., 9, 18).

Тургеневского Пунина, чудаковатого обожателя Хераскова, обычно соотносят с Д.Н. Дубенским (ум. 1863), который преподавал в пансионе Краузе русский язык и историю русской словесности в бытность там юного Тургенева, спустя годы вспоминавшего о своем наставнике:

К русскому языку пристрастил и познакомил нас некто Дубенский, в Москве довольно известный ученый, писавший и напечатавший, между прочим, замечательное по своему времени исследование о «Слове о полку Игореве». Он приезжал к нам в дом давать мне и брату моему уроки русского языка. Пушкина он недолюбливал, а воспитывал нас на Карамзине, Жуковском. Батюшкове. Как теперь гляжу на него – и на его красно-синий нос; он всегда имел вид человека подвыпившего, хотя, быть может, вовсе не был пьяницей⁶.

Этот фрагмент рассказа Тургенева воспроизводится или пересказывается в его биографиях, начиная с конца XIX в.⁷

Проблема в том, что предубеждение Дубенского против Пушкина не подтверждается доступными источниками. Более того, в книге Дубенского, вышедшей в свет 1828 г., т.е. менее чем за три года до знакомства его с юным Тургеневым, Пушкин цитируется или упоминается около 20 раз⁸; Карамзин – шесть⁹ (притом что книга заканчивается цитатой из Карамзина, которой автор придает, видимо, большое значение); Батюшков – восемь¹⁰; и только Жуковский уверенно опережает Пушкина, но не по количеству, а по объему цитат¹¹. Вместе с тем Дубенский демонстрирует очень

хорошую начитанность именно в современной поэзии: он цитирует П.А. Вяземского, Н.И. Гнедича, Ф.Н. Глинку, А.А. Дельвига, Е.А. Баратынского, С.П. Шевырева, Тютчева (в это время мало кому известного), В.И. Туманского, М.А. Дмитриева; при этом он демонстрирует очень хорошее знакомство с русской поэзией XVIII в. и упоминает или цитирует В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, В.П. Петрова, В.Г. Рубана, Я.Б. Княжнина, И.Ф. Богдановича, С.С. Боброва, а особое внимание уделяет Г.Р. Державину, которого цитирует постоянно¹², но не Хераскову, который цитируется только дважды¹³. Собственно, приверженность Дубенского Державину, и только она, позволяет, в принципе, поставить вопрос о его «архаизме», вновь возвращающем нас к Пунину, хорошо знавшему поэзию не только Хераскова, но и Державина, несмотря на то что к последнему у него были претензии либерального характера (Тургенев: Соч., 9, 18, 23–24), однако вместе с тем очевидно, что «архаизм» этот не мешает Дубенскому активнейшим образом читать и изучать поэзию первой четверти XIX в., в том числе Пушкина.

Версия Тургенева может быть объяснена только предположительно; здесь укажем на три обстоятельства. Во-первых, книга Дубенского о русском стихосложении мыслилась им как научное исследование, смысл которого был не в том, чтобы отбирать поэтов и разъяснять их значение, а в том, чтобы описывать формы стиха; в личном же общении с учениками он вполне мог выходить за пределы академической бесстрастности и обнаруживать свои литературные пристрастия. Во-вторых, на частных занятиях он мог (или даже должен был) больше внимания уделять тем поэтам, которые к тому времени уже обрели устойчивую культурную репутацию: к началу 1830-х годов Батюшков и Жуковский такой репутацией обладали, пушкинская переживала очередной непростой период становления. В-третьих, Тургенев, считавший себя преемником Пушкина и хранителем его литературной славы, вполне был способен, не прибегая к грубому искажению фактов, расставить акценты в соответствии с привычной моделью осмысливания русской литературной истории, которая базировалась на признании исключительной роли Пушкина и делилась на две части – до Пушкина и после; соответствующим образом, указывая на неспособность своего учителя понять значение величайшего русского

поэта, он, возможно подсознательно, откликался на постоянно присутствовавшее в его литературном сознании ощущение собственной связи с Пушкиным, которая оказывалась значительнее от того, что сформировалась без посторонних влияний.

Как бы то ни было, мнение, согласно которому именно Дубенский послужил одним из прототипов тургеневского Пунина, поклонника Хераскова и обличителя Пушкина, существенно теряет в своем значении.

Мне немедленно возразят, причем не только специалисты по Тургеневу, но и просто внимательные читатели его писем, что версия эта базируется не только на записи устного рассказа Тургенева, которую мы цитировали, но и на тексте письма его к П.В. Анненкову от 3 января 1857 г., в котором, частности, говорилось:

Огарев в последнее время написал кучу поэм; его несет четырехстопным ямбом <...>. Попадаются весьма хорошие вещи, но сыворотки все-таки ужасно много. <...> Двадцать, тридцать стихов сряду чистейшей воды с крупицей задушевного сахара... Эдак нельзя. <...> В какое негодование пришел бы мой учитель российского языка Дмитрий Никитыч Дубенский, называвший Пушкина «змеей, одаренной соловьиным пением»

(Тургенев: Письма, 3, 179).

Этот отрывок, как давно замечено, прямо перекликается со следующим местом повести «Пунин и Бабурин»:

— А вы, Никандр Вавилыч, неужели все еще уважаете Хераскова? Пунин остановился и разом взмахнул обеими руками.

— В высшей степени, сударь мой! В выс... шей сте... пе... ни!

— И Пушкина не читаете? Пушкин вам не нравится?

Пунин опять вознес руки выше головы.

— Пушкин? Пушкин есть змей, скрытно в зеленых ветвях сидящая, которой дан глас соловьиный!

(Тургенев: Соч., 9, 30–31).

Тургенева можно понять так, что именно Дубенского он считает автором пассажа о змее и соловье. Так ли это на самом

деле, мы, видимо, никогда не узнаем. Но если Дубенский не был автором этого пассажа, то кого он цитировал? Наконец, была ли эта цитата рассчитана на «узнавание» читателем? Без ответа на эти вопросы трудно утверждать, что мы понимаем только что приведенный фрагмент тургеневской повести, а следовательно, вряд ли вправе использовать ссылки на него как аргумент в обсуждении нашей темы.

Для начала напомним, что реплика Пунина имеет очевидный ветхозаветный подтекст и одновременно отсылает к эмблематической традиции, использовавшей и змей, и соловьев. Разумеется, не остался в стороне от нее и Херасков, которому Пунин противопоставляет Пушкина; например, в оде «Верность», открывшей третью книжку альманаха Карамзина «Аониды», где «змей» связывается с адом и тьмою:

*Но что мне мысль вообразила,
Смутив сладчайшие мечты?
Сокрыла солнце, день затмила...
Увы! Неверность, зришься ты!
Твои сверкающие очи
Суть молнии во время ночи;
Твой каждыи смертоносен взгляд;
Как змей вооруженный жалом,
Язык твой кажется кинжалом;
Бражеда и каждо слово яд.*

*Кому дерзаешь воображаться?
Тебе гнездиллица здесь нет;
Беги, беги, спеши казаться,
Где ад, где тыма, и чужд где свет!
О дочь гордыни, мать измены,
Исшедшая из недр Геены,
Где Бога, ни Царей не чтут!
Ты душ оракул лицемерных –
А здесь сердца Россиян верных
Как маслины весной цветут¹⁴.*

Мы не утверждаем, что Тургенев помнил об этой пьесе Хераскова, когда писал своего Пунина; нам важно другое: именно

среди поэтических произведений Хераскова мы без труда обнаруживаем то, со смысловым полем которого соотносится замечание Пунина о Пушкине-«змее». Зафиксировав этот факт, мы не идем сейчас дальше, отдавая себе отчет в том, что эмблема змеи / змея принадлежит к числу наиболее распространенных в европейской и русской культурах, взаимодействует со многими, в том числе сложными контекстами и при этом уходит в глубокую древность. То же относится к соловью: еще при жизни Хераскова уподобление «пения» поэтов соловьиному стало общим местом (ср., напр., в стихотворении Державина «Прогулка в Царском селе», в котором обыгрывается постановка вопроса об условности границы между поэзией и прозой в рецензии Карамзина на роман Хераскова «Кадм и Гармония»: «Пой, соловей! – и в прозе / Ты слышен ... <Карамзи>н»¹⁵; пьеса датируется маен 1791 г.¹⁶; в позднейшей редакции: «Пой, Карамзин! – и в прозе / Глас слышен соловьин»¹⁷.

Однако сочетание свойств змеи и соловья в характеристике одного лица, причем поэта, не было тривиальным и должно было восприниматься как изысканно-парадоксальное и одновременно, в тургеневско-пунинском контексте, как комически неадекватное. Между тем его непосредственный источник, насколько нам известно, до сих пор не обсуждавшийся, отнюдь не принадлежит к числу малоизвестных: это басня Крылова «Змeya», текст которой позволим себе привести целиком:

Змeя Юпитера просила.
Чтоб голос дать ей соловья.
«А то уж», говорит: «мне жизнь моя постыла.
Куда ни покажуся я,
То все меня дичатся,
Кто послабей;
А кто меня сильней,
Дай бог от тех живой убраться.
Нет, жизни этакой я боле не снесу;
А если б соловьем запела я в лесу,
То, возбудя бы удивленье,
Снискала бы любовь и, может быть, почтенье.
И стала бы душой веселых я бесед».
Исполнил Юпитер Змei прошенье;
Шипенья гнусного пропал у ней и след.

*На дерево всползя, Змей на нем засела,
Прекрасным соловьем Змей моя запела,
И стая, было, птиц отвсюду к ней подсела;
Но, взоряся в певца, все с дерева дождем.
Кому понравится такой прием?
«Ужли вам голос мой противен?»
В досаде говорит Змей.
— «Нет», отвечал скворец: «он звучен, дивен;
Поешь, конечно, ты, не хуже соловья;
Но, признаюсь, в нас сердце задрожсало,
Когда увидели твоё мы жало;
Нам страшно вместе быть с тобой.
Итак, скажу тебе, не для досады,
Твоих мы песен слушать рады —
Да только ты от нас подале пой».*

Документально зафиксированы частные уроки Дубенского, данные им Тургеневу в двадцатых числах марта и в первой декаде апреля 1831 г.¹⁸; в это время крыловская «Змей» если и не была уже литературной новостью, то во всяком случае могла восприниматься как вполне актуальный текст. Эта басня была впервые напечатана в сборнике 1830 г.¹⁹, выпущенном из типографии 7 августа²⁰ в трех вариантах (в 1/8 и 1/16 долю листа, осенью последовало и издание в 1/12²¹) и вскоре, уже в 1831 г., переизданном с тех же наборов с прежним цензурным разрешением и с переменой года²². На выход книги откликнулись, в частности, «Северная пчела» (1830. № 112), «Московский телеграф» (1830. Ч. 35. № 17. С. 107–108), «Литературная газета» (1830. № 55. С. 146).

Итак, вряд ли можно сомневаться в том, что именно Крылова цитировал Дубенский, говоря Тургеневу весной 1831 г. о Пушкине. Кому в действительности посвящена басня Крылова, когда она была написана и каков был повод к ее созданию, мы не знаем. Ясно только, что в ней идет речь о поэте, дарования которого всеми признаны (именно потому он и отождествлен с соловьем), как и его готовность язвить сердца пугливых современников (и потому он отождествлен со змеей), причем поэт этот начинает «петь» благодаря Юпитеру, в котором можно видеть олицетворенное Провидение, а можно – земного властителя, Николая I, освободившего Пушкина из ссылки и от цензуры и тем самым восстановившего

его связи с литературным миром, но не избавившего его от его демонической сущности; в этом пушкинском контексте крыловское «твоё увидели мы жало» неизбежно оказывается иронической репликой на «жало мудрья змеи», фигурирующее в «Пророке»²³, а текст первоначальной редакции пятой строфы «Домика в Коломне», завершенной 5 октября 1830 г. («А стих Александрийской?.. / Уж не его ль себе я залучу? / Извивистый, проворный, длинный, склизкой / И с жалом даже – точная змия; / Не в моде он, но с ним управлюсь я»²⁴), – ответом Пушкина Крылову. В этом случае становятся понятными и неоднократно отмечавшиеся обилие цитат из его басен в «Домике в Коломне», и пародийная концовка поэмы, представляющая собой вроде бы немотивированную издевку над нравоучениями, столь характерными, в частности, именно для басен. Если эта версия, которую здесь подробно не рассматриваем, имеет право на существование, то вместе с тем нужно признать, что мы ничего не знаем о размолвках Крылова с Пушкиным, которые могли бы побудить Крылова, пусть и относившегося к Пушкину не без иронии²⁵, написать эту басню именно против него²⁶ – даже с учетом того, что противопоставление Пушкина-поэта (со знаком плюс) и Пушкина-человека (со знаком минус) – устойчивый мотив переписки и воспоминаний его современников.

Мы также не знаем, считал ли Дубенский «Змею» сочинением на Пушкина (и если да, то сам ли утвердился в этом мнении или повторил догадку третьего лица или лиц) или только «применил» к Пушкину текст, показавшийся ему допускающим подобную операцию; как известно, история восприятия басен Крылова знает немало подобных применений, если не вся из них состоит. Поскольку же мы, повторим, всего этого не знаем, придется ограничиться констатацией того, что Пунин, к которому наконец возвращаемся, оказывается не только поклонником Хераскова, но и внимательным читателем Крылова, что, с одной стороны, приближает его к Дубенскому, цитировавшему ту же басню, с другой же – отдаляет от него, поскольку не Дубенский, а именно тургеневский Пунин противопоставлял Пушкину Хераскова, и у нас нет никаких данных об апологетическом отношении Дубенского к Хераскову, а вот некоторые основания для скептической оценки подобной версии, как мы видели, имеются.

Отдельный вопрос, на который у нас нет ответа, – располагал ли Тургенев какими-то дополнительными сведениями о «Змее», указывавшими на Пушкина как адресата басни; неизвестно также, узнал ли он в словах Дубенского цитату из басни Крылова. Косвенным свидетельством в пользу этого предположения, наряду с неизбежными трюизмами относительно всенародной известности Крылова, выступает рецензия Тургенева на третье издание английского перевода басен Крылова, сделанного Вильямом Рольстоном (Тургенев: Соч., 10, 266–267 и перевод, 267–269; впервые: 1871), свидетельствующая о том, что Тургенев питал несомненный интерес к басенному творчеству Крылова²⁷. Отметим, что в этой статье вновь «встречаются» Пушкин и Крылов: она завершается пересказом известного анекдота о тяжелой картине, висевшей над головой Крылова (Тургенев: Соч., 10, 267), зафиксированного Пушкиным²⁸. Однако если в повести «Пунин и Бабурин» был назван Пушкин, а Крылов – нет, то здесь обратная ситуация: Тургенев, пересказывая «пушкинский» анекдот о Крылове, ссылается на рассказ «очевидца», не упоминая о Пушкине, тем самым фактически придавая своей рецензии, написанной на английском языке для лондонского журнала, значение первопубликации.

Итак, как бы то ни было, ситуация с Пуниным приобретает следующий вид: поклонник Хераскова, выступающий против Пушкина, неявным образом опирается на басню Крылова, поэта, связанного и с пушкинским, и с херасковским временем; в результате противопоставление Хераскова Пушкину осмысливается на уровне кругозора чудака Пунина, но одновременно проецируется на уровень Крылова, поэта, связанного с XVIII в. не в меньшей степени, чем с XIX в. Если учесть, что в связи с Пуниным в повести фигурируют также имена Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, Рубана и Державина (Тургенев: Соч., 9, 18, 23, 39), которого Пунин патетически цитирует в одной из ключевых сцен, станет очевидной попытка Тургенева создать образ русской литературы XVIII в., замкнутый на этого героя (если не считать упоминания о кантах) и оформленный вокруг темы Хераскова, выдвинутой в качестве центральной. А сделав это, Тургенев обращается к тому, что пришло на смену Хераскову и его времени, и эта своеобразная тургеневская история русской литературы начинает вбирать в себя XIX в.: далее в повести «классики» противопоставляются «роман-

тизму», представленному помимо Байрона («тогдашнего властителя людских дум» [Тургенев: Соч., 9, 26]) и Пушкина (обсуждаются его «Цыганы» [Тургенев. Соч., 9, 27]; кроме того, подзаголовок повести [«Рассказ Петра Петровича Б.»], видимо, отсылает к «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина»), альманахом А.А. Бестужева и К.Ф. Рылеева «Полярная звезда», М.Н. Загоскиным с его романами «Рославлев» и «Юрий Милославский», Н.А. Полевым с его журналом «Московский телеграф»; увенчивается же вся эта последовательность портретом Белинского, который в 1849 г. украшает комнату Бабурина (Тургенев: Соч., 9, 27, 48, 54). Ко всему этому приходится прибавить Карамзина, лишь однажды и отнюдь не сочувственно упомянутого героиней тургеневской повести (Тургенев: Соч., 9, 35), и закрепленный им на русской почве тип чувствительной повести, ряд мотивов которой оказались энергично востребованы Тургеневым (слезы, судьба, разлука, чувствительности и бесчувственность, чтение и проч.).

Имея в виду эту отнюдь не характерную для русской повести широту охвата историко-литературного материала, мы вправе обратиться к литературной жизни XVIII в., несмотря на то что степень осведомленности Тургенева в этой области до сих пор в полной мере не прояснена (но то, что она отнюдь не является нулевой, представляется несомненным). В этом контексте ближайшей к Пунину фигурой оказывается Ермил Костров, переводчик Гомера и герой нескольких выразительных анекдотов, история и образ жизни которого сопоставимы с пунинскими. Как и Костров, Пунин учился в семинарии, как и Костров, курса не кончил; как и Костров, существовал в бедности, испытывая «недостаток приличной одежды»²⁹; его добродушие, его пристрастие к архаике соответствуют костровским (с той разницей, что Костров говорил о непреходящем величии Ломоносова, а Пунин – Хераскова), как и его «ребячество»; наконец, Пунина и Кострова очевидным образом связывает Херасков: первый им восхищался, второму он покровительствовал. Подобно тому как Пунин жил у Бабурина, Костров жил сначала в доме Шувалова³⁰, потом в доме Хераскова, что, в частности, засвидетельствовано Пушкиным в «Table-talk» (в котором содержится и упомянутый выше анекдот о Крылове и угрожавшей ему картине), ср.:

Херасков очень уважал Кострова и предпочитал его талант своему собственному. Это приносит большую честь и его сердцу, и его вкусу. Костров несколько времени жил у Хераскова, который не давал ему напиваться. Это наскучило Кострову. Он однажды пропал. Его бросились искать по всей Москве и не нашли. Вдруг Херасков получает от него письмо из Казани. Костров благодарил его за все его милости, но, писал поэт, воля для меня ³¹ всего дороже.

Это акцентированное Пушкиным сочетание зависимости Кострова от обстоятельств с внутренней свободой, основанной на нравственном чувстве, опять-таки позволяет соотнести его с Пуниным. Отмеченное же Пушкиным пристрастие Кострова к горячительным напиткам, бросавшее в глаза всем, кто с ним сталкивался в быту, – едва ли не единственная яркая особенность его образа жизни, которая не находит соответствия у тургеневского героя. Впрочем, тема пьянства в повести Тургенева все же представлена, в том числе в связи с Пуниным: «Он не читал, он выкрикивал их торжественно, заливчато, закатисто, в нос, как опьяневый, как исступленный, как Пифия!» (Тургенев: Соч., 9, 18); ср. суждение строгой бабушки героя о стихотворцах: «всякий сочинитель кантов был, по ее мнению, либо пьяница горький, либо круглый дурак» (там же); напомним и о том, что фигурирует у Тургенева и само имя Кострова, выполняющее, по-видимому, роль «ключа» ко всей конструкции: Ермилом зовут мужика с «испитым лицом» (Тургенев: Соч., 9, 20), за которого безуспешно заступался Бабурин; так «костровская» тема оказалась разделена между Пуниным и одним из второстепенных персонажей, сыгравшим, впрочем, определенную роль в сюжете повести.

Напомним наконец и о том, что Пунин сам в некотором роде поэт: этот тургеневский обожатель Хераскова, цитирующий Державина и Крылова и наделенный сходством с Костровым, биографически связанным с Херасковым, подражает не Хераскову, а Рубану (Тургенев: Соч., 9, 38), чья литературная репутация не была слишком высокой уже при его жизни, а после смерти совсем упала. Именно подражание Рубану становится единственным творческим итогом взаимодействия тургеневского героя с русской литературой XVIII в., сам Рубан – своего рода символом исчерпанности ее влияния, а Херасков – утраченного / отброшенного за

ненадобностью смысла и уже неочевидного величия, все еще, но уже странным образом, напоминающего о себе.

¹ Топоров В.Н. Странный Тургенев: (Четыре главы). М., 1998. С. 115.

² Ср.: «Свет, который дает ее краскам значение и силу, – тот свет, который исходит из сердца человека, – погас во мне... Нет, он еще не погас – но едва тлеет, без лучей и без теплоты. Помнится, однажды темной ночью, в Москве, я подошел к решетчатому окну старенькой церкви и прислонился к церковному стеклу. Было темно под низкими сводами – позабытая лампадка едва теплилась красным огоньком перед древним образом – и смутно виднелись одни только губы святого лика, строгие, скорбные; угрюмый мрак надвигался кругом и, казалось, готовился подавить своею глухою тяжестью слабый луч ненужного света... И в сердце моем – теперь такой же свет и такой же мрак» (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т.: Соч.: в 12 т. / Издание второе, исправленное и дополненное. М., 1978–1986. Т. 7. С. 221. Далее ссылки на это издание даются в тексте сокращенно: Тургенев: Соч.).

³ Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т.: Письма: в 18 т. / Издание второе, исправленное и дополненное. М., 1982. Т. 1. С. 168–169. Далее ссылки на это издание даются в тексте сокращенно: Тургенев: Письма. Набросанная Тургеневым картина чтения книг из старинного шкафа, как и само имя Серебрякова, Леон, отсылают к шестой главе повести Карамзина «Рыцарь нашего времени» (ср.: <Карамзин Н.М.> Рыцарь нашего времени // Вестник Европы. 1802. № С. 112–117).

⁴ Не обсуждаем здесь степень беллетризации реальности в этом тургеневском письме, однако отметим, что она, безусловно, имела место: ср. сухую (по крайней мере на этом фоне) и, видимо, более близкую к действительности справку в письме к М.Д. Хмырову от 8 (20) октября 1868 г.: «Знакомство с русской литературой началось с “Россияды”, которую один камердинер моей матушки читал мне украдкой – повторяя каждый стих сперва начерно, потом набело» (Тургенев: Письма, 9, 71).

⁵ Не рассматриваем здесь уже не раз обсуждавшиеся вопросы о неточностях, допущенных Тургеневым при описании «Книги эмблем» в письме 1840 г., а также о его действительном отношении к эмблематической традиции, полный разрыв с которой был вряд ли возможен для русской литературы даже в тех случаях, когда он декларировался, и которая фактически обеспечивала ее единство (см. об этом: Сазонова Л.И. Память культуры: Наследие Средневековья и барокко в русской литературе Нового времени. М., 2012. С. 179–186).

⁶ Иван Сергеевич Тургенев на вечерней беседе в С.-Петербурге 4-го марта 1880 г. <Подготовка текста и публикация Л.Н. Майкова> // Русская старина. 1883. № 10. С. 204.

- 7 Ср., напр.: «В 1830 году Тургенева отправили в Москву и отдали в частный пансион Вейденгаммера <...>. Но у Вейденгаммера Тургенев оставался не долго и вскоре перешел <...> в пансион директора армяно-лазаревского института Краузе. Учителя здесь были порядочные, с особенной же любовью Тургенев вспоминал всегда о некоем Дубенском, преподавателе русской словесности. Дубенский был честный, преданный своему делу *педагог старого закала*, основательно знакомивший детей с литературой, воспитывая их на сочинениях Карамзина, Батюшкова, Жуковского. Пушкина Дубенский не долябил за его вольности и даже с негодованием относился к нему, находя, как и Пунин, что он воспевает вещи низкие и недостойные лирного брязгания» (*Соловьев Е.А. И.С. Тургенев, его жизнь и литературная деятельность: Биографический очерк*. СПб., 1894. С. 17–18).
- 8 Дубенский Д.Н. Опыт о народном русском стихосложении. М., 1828. С. 5 (два фрагмента из «Евгения Онегина» и один из «Кавказского Пленника»), 9, 10, 11, 24, 27, 28, 29–30, 32 (дважды), 33, 34 (дважды), 35 (дважды), 36, 39–39.
- 9 Там же. С. 46, 55, 65, 115, 118, 124.
- 10 Там же. С. 25, 33, 40, 43, 61, 91, 96–97, 114.
- 11 Там же. С. 26, 32, 33, 36, 37–38, 42–43 (дважды), 89–90 (дважды), 92 (дважды), 93, 94, 96 (дважды), 97, 100–101 (дважды), 111.
- 12 Там же. С. 9 (дважды), 10, 11, 24, 26, 28, 34, 35, 36, 39, 42, 48, 92, 95, 98.
- 13 Там же. С. 24, 29.
- 14 Х^{ерасков} М.<М.> Верность // Аониды, или Собрание разных, новых стихотворений. Книжка III: 1798–1799. М., <1799>. С. 6–7.
- 15 [Державин Г.Р.] Прогулка в Сарском Селе // Московской Журнал. 1791. С. 127.
- 16 Державин Г.Р. Соч. с объяснительными примечаниями Я.[К.] Грота: Т. 1–9 / Издание Имп. Академии наук. СПб., 1864–1883. Т. 1. С. 423, примеч. 1.
- 17 Там же. С. 427; подробнее об этом см.: Ивинский Д.П. Из комментария к рецензии Н.М. Карамзина на роман М.М. Хераскова «Кадм и Гармония» // Известия РАН: Серия литературы и языка. 2018. № 2. С. 24.
- 18 Летопись жизни и творчества И.С. Тургенева (1818–1858) / Составитель Н.С. Никитина. СПб., 1995. С. 19–21.
- 19 Крылов И.А. Басни в восьми книгах: Издание новое, исправленное и умноженное / Иждивением книгопродавца Смирдина. СПб., 1830. С. 345–346; цензурное разрешение 26 апреля 1830 г.
- 20 Крылов И.А. Басни / Издание подготовил А.П. Могилянский / Академия наук СССР: Отделение литературы и языка: Литературные памятники. М.; Л., 1956. С. 294.
- 21 Московский телеграф. 1830. Ч. 35. № 19. С. 447.
- 22 Крылов И.А. Басни в восьми книгах: Издание новое, исправленное и умноженное / Иждивением книгопродавца Смирдина. СПб., 1831.
- 23 Пушкин А.С. Пророк // Московский вестник. 1828. № 3. С. 270.
- 24 Пушкин <А.С.> Полн. собр. соч.: Т. 1–17. М.; Л., 1937–1959. Т. 5. С. 373.

- ²⁵ Об этом см., напр.: *Ивинский Д.П.* Пушкин и Мицкевич: История литературных отношений. М., 2003. С. 180–182.
- ²⁶ Ср. мудрое и, быть может, многозначительное предостережение от поспешных выводов, высказанное еще хорошо осведомленным В.Ф. Кеневичем, напечатавшим черновые варианты «Змеи»: «Варианты последних стихов не оставляют никакого сомнения, что в этой басне Крылов разумел известное лицо; но чтобы положительно сказать, кого именно, для того у нас нет достаточных данных; всякое же предположение, даже более или менее основательное, в настоящем случае считаем неуместным» (*Кеневич В.Ф.* Библиографические и исторические примечания к басням Крылова / Издание Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1868. С. 227; то же: *Кеневич В.Ф.* Библиографические и исторические примечания к басням Крылова: Второе издание, с приложением материалов для биографии И.А. Крылова. СПб., 1878. С. 240). Говоря об «вариантах последних стихов», Кеневич имеет в виду прежде всего оставшееся в черновой рукописи следующее обращение к Змее: «И ты, приятель мой <...>» (*Кеневич В.Ф.* Библиографические и исторические примечания к басням Крылова. 1868. С. 226); ясно, что данное обращение скорее поддерживает версию о пушкинской адресации басни.
- ²⁷ Об интересе Рольстона к Крылову и его отношениях с Тургеневым см.: *Алексеев М.П., Левин Ю.Д.* Вильям Рольстон – пропагандист русской литературы и фольклора: С приложением писем Рольстона к русским корреспондентам. СПб., 1994. С. 19–25, 31–39.
- ²⁸ *Пушкин <А.С.>* Полн. собр. соч.: Т. 1–17. Т. 12. С. 170; впервые: *Пушкин А.С.* Анекдоты и замечания // Современник. 1837. № 4. С. 227; см. также: *Плетнев П.А.* Иван Андреевич Крылов // Современник. 1845. Т. 37. С. 61–62.
- ²⁹ *Дмитриев М.А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 27.
- ³⁰ *Дмитриев М.А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1854. С. 11; то же: *Дмитриев М.А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 26.
- ³¹ *Пушкин <А.С.>* Полн. собр. соч.: Т. 1–17. Т. 12. С. 161–162.